

Аннотация

Поучительный и добрый рассказ о совести выдающегося прозаика Виктора Астафьева. События происходят с мальчиком, которому бабушка наказала собрать ягоды на продажу, а в награду обещала привезти пряничного коня – заветное лакомство детворы. Герой вынужден пойти на хитрость, чтобы не выглядеть перед друзьями трусом. Сюжет из жизни обычного деревенского мальчишки несет важный смысл, раскрывает особенности детского поведения и безусловную любовь близких людей.

Раскаялся ли герой в своем поступке и как поведет себя бабушка, обнаружив обман внука? Благодаря легкому и понятному слогу автора Конь с розовой гривой читать одно удовольствие.

Бабушка возвратилась от соседей и сказала мне, что Левонтьевские ребяташки собираются на увал по землянику.

– Сходи с ними, – говорила она. – Наберёшь туюсок. Я повезу свои ягоды на продажу, твои тоже продам и куплю тебе пряник.

– Конём, баба?

– Конём, конём.

Пряник конём! Это ж мечта всех деревенских малышей. Он белый-белый, этот конь. А грива у него розовая, хвост розовый, глаза розовые, копыта тоже розовые.

Бабушка никогда не давала мне бегать с куском хлеба. Ешь за столом, иначе будет худо. Но пряник совсем другое дело. Пряник можно положить под рубаху и слышать, бегая, как конь ударяет копытами по голому животу. Холодея от ужаса – потерял! – хвататься за рубаху и со счастьем убеждаться, что тут он, тут, конь-огонь. С таким конём сразу почёту сколько, внимания! Ребята Левонтьевские вокруг тебя и так, и этак ластятся, и в чижа первому бить дают, и из рогатки стрельнуть, чтоб только им позволил потом откусить от коня или лизнуть его.

Когда даёшь Левонтьевским Саньке или Таньке откусывать, надо держать пальцами то место, по которое откусить положено, и держать крепко, иначе Танька или Санька так цапнут; что останется от коня хвост да грива.

Левонтий, сосед наш, работал на бадобах. Бадобами у нас зовут длинные дрова для известковых печей.

Левонтий заготавливал лес на бадоби, пилил его, колол и сдавал на известковый завод, что был супротив деревни по другую сторону Енисея.

Один раз в десять дней, а может, и в пятнадцать, я точно не помню, Левонтий получал деньги, и тогда в доме Левонтия, где были одни ребяташки и ничего больше, начинался пир горой.

Какая-то беспокойность, лихорадка, что ли, охватывала тогда не только Левонтьевский дом, но и всех соседей. Ещё рано утром к бабушке забежала Левонтьиха, тётка Василиса, запыхавшаяся, загнанная, с зажатыми в горсти рублями:

– Кума! – испуганно-радостным голосом восклицала она. – Долг от я принесла, – и тут же кидалась прочь из избы, взметнув юбкою вихрь.

– Да стой ты, чумовая! – окликала её бабушка. – Сосчитать ведь надо!

Тётка Василиса покорно возвращалась и, пока бабушка считала деньги, перебирала босыми ногами, ровно горячий конь, готовый рвануть, как только приотпустят вожжи.

Бабушка считала обстоятельно и долго, разглаживая каждый рубль. Сколько я помню, больше семи или десяти рублей из «запасу на чёрный день» бабушка никогда Левонтьевым не давала, потому как весь этот «запас», кажется, состоял из десятки. Но и при такой малой сумме заполошная Левонтьиха умудрялась обсчитаться на рубль, а то и на тройку. Бабушка напускалась на Левонтьиху со всей суровостью;

– Ты как же с деньгами-то обращаешься, чучело безглазое?! Мне рупь, другому рупь. Это что ж получается?!.. Но Левонтьиха опять делала юбкой вихрь и укатывалась:

– Передала ведь!

Бабушка ещё долго поносила Левонтьиху, самого Левонтия, била себя руками по бёдрам, плевалась, а я подсаживался к окну и с тоской глядел на соседский дом.

Стоял он сам собою на просторе, и ничто-то ему не мешало смотреть на свет белыми кое-как застеклёнными окнами – ни забор, ни ворота, ни сенцы, ни наличники, ни ставни.

Весною, поковыряв маленько землю на огороде вокруг дома, Левонтьевские возводили изгородь из жердей, хворостин, старых досок. Но зимой всё это постепенно исчезало в ненасытной утробе русской печи, уныло раскорячившейся посреди избы Левонтия.

Танька Левонтьевская говаривала по этому поводу, шумя беззубым ртом:

– Зато как тятка шурунёт нас – бегишь и не запнешша.

Сам Левонтий выходил на улицу в штанах, державшихся на единственной старинной медной пуговице с двумя орлами, и в рубахе навывпуск вовсе без пуговиц. Он садился на истюканный топором чурбак, изображавший крыльцо, и благодушно отвечал на укоры бабушки:

– Я, Петровна, слабоду люблю! – и обводил рукой вокруг себя. – Хорошо! Ништо глаз не угнетат!

Левонтий любил меня, жалел. Главная цель моей жизни была прорваться в дом Левонтия после его получки. Сделать это не так-то просто. Бабушка знает все мои повадки наперёд.

– Нечего куски выглядывать! – гремит она.

Но если мне удаётся ушмыгнуть из дома и попасть к Левонтьевым, тут уж всё, тут уж для меня праздник!

– Выдь отсюда! – строго приказывал пьяненький Левонтий кому-нибудь из своих парнишек. Тот нехотя вылезал из-за стола, Левонтий пояснял детям это действие уже обмякшим голосом: – Он сирота, а вы всё ш таки при родителях! Мать-то ты хоть помнишь ли? – взрёвывал он, жалостно глянув на меня. Я утвердительно кивал головой, и тогда Левонтий со слезой вспоминал: – Бадоги с ней по один год кололи-и! – и, совсем уж разрыдавшись, вспоминал: – Когда ни придёшь... ночь, в нолночь... пропа... пропащая ты голова, Левонтий, скажет и... опохмелит...

Тут тётка Василиса, ребятишки Левонтия и я вместе с ними ударились в голос, и до того становилось полюбовно и жалостно в избе, что всё-всё высыпалось и вываливалось на стол, и все дружно угощали меня, и сами ели уж через силу.

Поздним вечером либо совсем уж ночью Левонтий задавал один и тот же вопрос: «Что такое жисть?!» После чего я хватал пряники, конфеты, ребятишки Левонтьевские тоже хватали, что попадало под руки, и разбегались, кто куда. Последней ходу задавала тётка Василиса. И бабушка моя «привечала» её до утра. Левонтий бил остатки стёкол в окнах, ругался, гремел, плакал.

На следующий день он осколками стеклил окна, ремонтировал скамейки, стол и, полный мрака и раскаянья, отправлялся на работу. Тётка Василиса дня через три-четыре ходила по соседям и уже не делала вихрь юбкой. Она снова занимала денег, муки, картошек, чего придётся.

Вот с ребятишками-то дяди Левонтия и отправился я. по землянику, чтобы трудом своим заработать пряник. Ребятишки Левонтьевские несли в руках бокалы с отбитыми краями, старые, наполовину изодранные на растопку; берестяные туюски и даже ковшик без ручки. Посудой этой они бросались друг в друга, барахтались, раза два принимались драться, плакали, дразнились. По пути они заскакивали в чей-то огород и, поскольку там ещё ничего не поспело, напластали беремя луку-батуну, наелись до зелёной слюны и остальной лук бросили. Оставили только несколько пёрышек на дудки. В обкусанные перья лука они пищали всю дорогу, и под музыку мы скоро пришли в лес, на каменистый увал. Начали брать землянику, только-только ещё поспевающую, редкую, белобокую и особенно желанную и дорогу.

Я брал старательно и скоро покрыл дно аккуратненького туюска стакана на два-три. Бабушка говаривала, что главное в ягодах – закрыть дно посуды. Вдохнул я с облегчением и стал брать ягоды скорее, да и попадалось их выше по увалу больше и больше.

Левонтьевские ребятишки тоже сначала ходили тихо. Лишь позвякивала крышка, привязанная к медному чайнику. Чайник этот был у старшего парнишки Левонтьевых, и побрякивал он им для того, чтобы мы слышали, что он, старший, тут, поблизости, и бояться нам некого и незачем.

Но вдруг крышка чайника забрякала нервно, послышалась возня:

– Ешь, да? Ешь, да? А домой чё? А домой чё? – спрашивал старший и давал кому-то пинки после каждого вопроса.

– А-га-а-а! – запела Танька, – Санька тоже съел, так ничего-о-о...

Попало и Саньке, Он рассердился, бросил посудину и свалился в траву. Старший брал-брал ягоды, и, видать, обидно ему стало, что вот берёт он, для дома старается, а те вот жрут ягоды либо вовсе в траве валяются.

Подскочил он к Саньке и пнул его ещё раз, Санька взвыл, кинулся на старшего. Зазвенел чайник, брызнули из него ягоды. Бьются братья Левонтьевы, катаются, все ягоды раздавили.

После драки и у старшего опустились руки. Принялся он собирать просыпанные давленные ягоды, и в рот их.

– Вам можно, а мне нельзя? – зловеще спрашивал он, пока не съел всё, что удалось собрать.

Вскоре братья Левонтьевы как-то незаметно помирились, перестали обзывать и решили сходить к малой сечке побрызгаться.

Мне тоже хотелось побрызгаться, но я не решался пойти с увала к речке. Санька стал кривляться:

– Бабушки Петровны испугался! Эх ты... – И Санька назвал меня нехорошим, обидным словом. Он много знал таких слов. Я тоже знал их, научился у Левонтьевских ребят, но боялся, а может, и стеснялся их употреблять, и сказал только:

– Зато мне баба пряника конём купит!

– Жди, купит! – съехидничал Санька и, что-то смекнув, добавил: – Скажи уж лучше – боишься её и ещё жадный!

– Я?

– Ты!

– Жадный?

– Жадный!

– А хочешь, все ягоды съем?! – сказал я это и сразу покаялся, понял, что попался на уду. Исцарапанный, с шишками на голове от драк и разных других причин, с цыпками на руках и ногах, Санька был вреднее и злее всех Левонтьевских ребят.

– Слабо! – сказал он.

– Мне слабо? – хорохорился я, искоса глядя в туесок. Там было ягод уже выше середины. – Мне слабо? – повторял я гаснущим голосом и, чтобы не спасовать, не струсить, не опозориться, решительно вытряхнул ягоды в траву: – Вот! Ешьте вместе со мной!

Навалилась Левонтьевская орда, и ягоды вмиг исчезли.

Мне досталось всего несколько ягодок. Грустно. Но я уже сделался отчаянным, махнул на все рукой. Я мчался вместе с ребятами к речке и хвастался:

– Я ещё у бабушки калач украду!

Ребята поощряли меня, давай, мол, и не один калач, может, мол, ещё шанег прихватишь либо пирог.

– Ладно! – с воодушевлением кричал я.

Мы брызгались из речки студёной водой, бродили по ней и руками ловили пищуженца-подкаменщика, Санька ухватил эту мерзкую на вид рыбину, назвал её срамно, и мы растерзали её на берегу за некрасивый вид. Потом пуляли камнями в пролетающих птичек и подшибли стрижа. Мы отпаивали стрижа водой из речки, но он пускал в речку кровь, а воды проглотить не мог и умер, уронив голову. Мы похоронили стрижа и скоро забыли о нём, потому что занялись захватывающим, жутким делом – забегали в устье холодной пещеры, где жила (это в деревне доподлинно знали) нечистая сила. Дальше всех в пещеру забежал Санька. Его и нечистая сила не брала!

Так интересно и весело мы провели весь день, и я совсем уж забыл про ягоды. Но настала пора возвращаться домой. Мы разобрали посуду, спрятанную под деревом.

– Задаст тебе Катерина Петровна! Задаст! – хихикнул Санька. – Ягоды-т мы съели. Ха-ха! Нарошно съели! Ха-ха! Нам-то ништяк! Хо-хо! А тебе-то ха-ха!..

Я и сам знал, что им-то, Левонтьевским, «хо-хо!», а мне «ха-ха!» Бабушка моя, Катерина Петровна, – не тётка

Василиса.

Жалко плёлся я за Левонтьевскими ребятишками из лесу. Они бежали впереди меня и гурьбой гнали по дороге ковшик без ручки. Ковшик звякал, подпрыгивал на камнях, и от него отскакивали остатки эмалировки.

– Знашь чё? – поговорив с братанами, обернулся ко мне Санька. – Ты в туес травы натолкай, а сверху ягод – и готово дело! «Ой, дитятко моё! – принялся с точностью передразнивать мою бабушку Санька. – Пособил тебе восподь, сиротинке, пособи-ил». – И подмигнул мне бес-Санька, и помчался дальше, вниз с увала.

А я остался.

Утихли голоса Левонтьевских ребятишек внизу за огородами. Я стоял с туеском, один на обрывистом увале, один в лесу, и мне было страшно. Правда, деревню здесь слышно. А всё же тайга, пещера недалеко, и в ней нечистая сила.

Повздыхал, повздыхал, чуть было не всплакнул даже и принялся рвать траву. Набрал ягод, заложил верх туеска, получилось даже с копной.

– Дитятко ты моё! – запричитала бабушка, когда я, замирая от страха, передал ей посудину свою. – Восподь тебе, сиротинке, пособи-ил. Уж куплю я тебе пряник да самый большущий. И пересыпать ягодки твои не стану к своим, а; прямо в этом туеске увезу...

Отлегло маленько. Я думал, сейчас бабушка обнаружит моё мошенничество, даст мне за это, что полагается, и уже отрешённо приготовился к каре за содеянное злодейство.

Но обошлось. Всё обошлось. Бабушка отнесла мой туесок в подвал, ещё раз похвалила меня, дала есть, и я подумал, что бояться мне пока нечего и жизнь не так уж худа.

Побежал играть на улицу, и там дёрнуло меня сообщить обо всём Саньке.

– А я расскажу Петровне! А я расскажу!..

– Не надо, Санька!

– Принеси калач, тогда не расскажу.

Я пробрался тайком в кладовку, вынул из ларя калач и принёс его Саньке под рубахой. Потом ещё принёс, потом ещё, пока Санька не нажрался.

«Бабушку надул, калачи украл! Что только будет?» – терзался я ночью, ворочаясь на полотах. Сон не брал меня, как окончательно и вконец запутавшегося преступника.

– Ты чего там елозишь? – хрипло спросила из темноты бабушка. – В речке, небось, опять бродил? Ноги, небось, болят?

– Не-е, – жалко откликнулся я, – сон приснился...

– Ну, спи с богом. Спи, не бойся. Жизнь страшнее снов, батюшко... – уже невнятно бормотала бабушка.

«А что если разбудить её и всё-всё рассказать?»

Я прислушался. Снизу доносилось трудное дыхание утомлённого старого человека. Жалко будить бабушку. Ей рано вставать. Нет уж, лучше я не буду спать до утра, скараулю бабушку, расскажу ей обо всём – и про туесок, и про калачи, и про всё, про всё...

От этого решения мне стало легче, и я не заметил, как закрылись глаза. Возникла Санькина немая рожа, а потом замелькала земляника, и засыпала, завалила она и Саньку, и всё на этом свете.

На полотах запахло сосняком, ягодами, и пришли ко мне неповторимые детские сны. В этих снах часто с замиранием сердца падаешь вниз. Говорят – оттого, что растёшь.

Дедушка был на заимке, километрах в пяти от села, в устье реки Маны. Там у нас была посеяна полоска ржи, полоска овса и полоска картофеля. О колхозах тогда ещё только начинались разговоры, и селяне наши пока жили одиночно. У дедушки на заимке я очень любил бывать. Спокойно у него там, обстоятельно как-то. Может, оттого, что дедушка никогда не шумит и даже работает тихо, неторопливо, но очень уёмисто и податливо.

Ах, если бы заимка была ближе! Я бы ушёл, скрылся. Но пять километров для меня тогда были огромным, непреодолимым расстоянием. И Алёшки, моего двоюродного глухонемого братишки, нет. Недавно приезжала Августа, его мать, и забрала Алёшку с собой на сплавной участок, где она работала.

Слонялся я, слонялся по пустой избе и ничего другого не смог придумать, как податься к Левонтьевским.
– Уплыла Петровна? – весело ухмыльнулся Санька и цыкнул слюной на пол в дырку меж передних зубов. У него в этой дырке запросто мог поместиться ещё один зуб, и мы страшно завидовали этой Санькиной дырке. Как он сквозь неё плевал!

Санька собирался на рыбалку и распутывал леску. Малые Левонтьевские ходили возле скамеек, ползали, ковыляли просто так на кривых ногах. Санька раздавал затрешины направо и налево за то, что малые лезли под руку и путали леску.

– Крючка нету, – сердито сказал он, – проглотил, должно, который-то.

– Помрёт!

– Ништяк, – успокоил меня Санька. – Дал бы ты крючок, я бы тебя на рыбалку взял.

– Идёт! – я обрадовался и помчался домой, схватил удочку, хлеба, и мы подались к каменным бычкам, за поскотину, спускавшуюся прямо в Енисей ниже села.

Старшего Левонтьевского сегодня не было. Его взял с собою на «бадоги» отец, и Санька командовал направо. Поскольку был он сегодня старшим и чувствовал большую ответственность, то уж не задибался почти и даже умирал «народ», если тот принимался драться...

У бычков Санька поставил удочки, наживил червяков, поплевал на них и закинул лески.

– Ша! – сказал Санька, и мы замерли.

Долго не клевало. Мы устали ждать, и Санька прогнал нас искать кислицу – щавель, чеснок береговой и редьку дику.

Левонтьевские ребята умели пропитаться «от земли», ели всё, что бог пошлёт, ничем не брезговали, и оттого были все краснорожие, сильные, ловкие, особенно за столом.

Пока мы собирали пригодную для жратвы зелень, Санька вытащил двух ершей, одного пескаря и белоглазого ельца.

Развели огонь на берегу. Санька вздел на палочки рыб и начал их жарить.

Рыбки были съедены без соли и почти сырые. Хлеб мой ребята ещё раньше смолотили и занялись кто чем: вытаскивали из норок стрижей, «блинали» каменными плиточками по воде, пробовали купаться, но вода была ещё холодная, и все быстро выскочили из реки – отогреться у костра. Отогрелись и повалились в ещё низкую траву.

День был ясный, летний. Сверху пекло. Возле поскотины огнисто полыхали цветы-жарки, в ложке, под берёзами и боярками клонились к земле рябенькие кукушкины слёзки. На длинных хрустких стеблях болтались из стороны в сторону синие колокольчики, и, наверное, только пчёлы слышали, как они звенели. Возле муравейника на обогретой земле лежали полосатые цветки граммофончики, и в голубой их рупор совали головы шмели. Они надолго замирали, выставив мохнатые зады, должно быть, заслушивались музыкой. Берёзовые листья блестели, осинник сомлел от жары, не трепыхался. Боярка доцветала и сорила в воду, сосняк окурен прозрачной дымкой. Над Енисеем чуть мерцало. Сквозь это мерцание едва проглядывали красные жерла известковых печей, полыхавших по ту сторону реки. Леса на скалах стояли неподвижно, и железнодорожный мост в городе, видимый из нашей деревни в ясную погоду, колыхался тонкою паутинкой и, если долго смотреть на него, вовсе разрушался, падал.

Оттуда, из-за моста должна приплыть бабушка. Что только будет? И зачем, зачем я так сделал?! Зачем послушал Левонтьевских?

Вон как хорошо было жить! Ходи, бегай и ни о чём не думай. А теперь? Может, лодка опрокинется и бабушка утонет? Нет, уж лучше пусть не опрокидывается. Моя мать утонула. Чего хорошего? Я нынче сирота.

Несчастный человек. И пожалеть меня некому. Левонтий только пьяный пожалеет и всё, а бабушка только кричит да нет-нет и поддаст – у неё не задержится. И дедушки нет. Не заимке он, дедушка. Он бы не дал меня в обиду. Бабушка кричит на него: «Потатчик! Своих всю жизнь потакал, теперь этого!..»

«Дедушка, ты дедушка, хоть бы ты в баню мыться приехал, хоть бы просто так приехал и взял бы меня с собою!»

– Ты чего нюнишь? – наклонился ко мне Санька с озабоченным видом.

– Ничего-о-о! – ответил я голосом, давая понять, что это он, Санька, довёл меня до такой жизни.

– Ништяк! – утешил меня Санька. – Не ходи домой и всё! Заройся в сено и притаись. Петровна видела у твоей матери глаз приоткрытый, когда её хоронили. Бойтся теперь, что и ты тоже утонешь. Вот она закричит, запричитает: «Утону-у-ул мой дитятко, спокинул меня сироти-иночка», а ты тут как тут...

– Не буду так делать! – запротестовал я. – И слушаться тебя не буду!..

– Ну и чёрт с тобой! Тебе же лучше хотят... Во! Ключуло! У тебя ключуло! Тяни!

Я скатился с яра вниз, переполошил стрижей в дырках и рванул удочку. Попался окунь. Потом ещё окунь.

Потом ёрш. Подошла рыба, начался клёв. Мы наживляли червяков, закидывали.

– Не перешагивай через удилище! – суеверно орал Санька на совсем ошалевших от восторга Левонтьевских малышей и таскал рыбёшек. Малыши надевали их на ивовый прут и опускали в воду.

Вдруг за ближним каменным бычком защёлкали о дно кованые шесты, и из-за мыска показалась лодка. Трое мужиков разом выбрасывали из воды шесты. Сверкнув отшлифованными наконечниками, шесты разом падали в воду, и лодка, зарывшись по самые обводы в реку, рвалась вперёд, откидывая на стороны волны.

Ещё взмах шестов, перекидка руки, толчок – и лодка ближе, ближе. Вот уж кормовой дакнул шестом, и лодка кивнула носом в сторону от наших удочек. И тут я увидел сидящего на беседке ещё одного человека.

Полушалок на голове, концы его пропущены под мышки, крест на крест завязаны на спине. Под полушалком крашенная в бордовый цвет кофта, которая вынималась из сундука только по случаю поездки в город и по большим праздникам...

Ведь это ж бабушка!

Рванул я от удочек прямо к яру, подпрыгнул, ухватился за траву и повис, засунув большой палец ноги в стриженую норку. Тут подлетел стриж, ткнул меня по голове, и я упал вниз, на комья глины. Соскочил и ударился бежать по берегу прочь от лодки.

– Ты куда?! Стой! Стой, говорю! – крикнула бабушка.

Я мчался во весь дух.

– Я-а-авишься, я-а-авишься домой, мошенник! – нёсся вслед мне голос бабушки. А мужики поддали жару, крикнув:

– Держи его!

И я не заметил, как оказался на верхнем конце деревни.

Тут только я обнаружил, что наступил уже вечер, и волей-неволей надо возвращаться домой. Но я не хотел домой и на всякий случай подался к двоюродному братишке Ваньке, жившему здесь, на верхнем краю села. Мне повезло. Возле дома Кольчи-старшего, Ванькиного отца, играли в лапту. Я ввязался в игру и пробегал до темноты.

Появилась тётя Феня, Ванькина мать, и спросила меня:

– Ты почему домой не идёшь?

Бабушка ведь потеряет тебя?

– Не-е, – беспечно ответил я. – Она в город уплыла. Может, ночует там.

Тогда тётя Феня предложила мне поесть, и я с радостью смолотил всё, что она мне дала. А тонкошей молчун Ванька попил варёного молока, и мать сказала ему:

– Всё на молочке да на молочке. Глади вон, как ест парнишка, и оттого крепок.

Я уже надеялся, что тётя Феня и ночевать меня оставит, но она ещё порасспрашивала, порасспрашивала обо всём, затем взяла меня за руку и отвела домой.

В доме уже не было свету. Тётя Феня постучала в окно. Бабушка крикнула: «Не заперто». Мы вошли в тёмный и тихий дом, где только и слышалось многокрылое жужжание бьющихся о стекло мух, пауков да ос.

Тётя Феня оттеснила меня в сени и втокнула в пристроенную к сеним кладовку. Там была налажена постель из половиков и старого седла в головах – на случай, если днём кого-то сморит жара и ему захочется отдохнуть в холодке.

Я зарылся в половики, притих.

Тётя Феня и бабушка о чём-то разговаривали в избе. В кладовке пахло отрубями, пылью и сухой травой, натканной во все щели и под потолком. Травы эта всё чего-то пощёлкивала да потрескивала, и оттого, видно, в кладовке было немного таинственно и жутковато.

Под полом одиноко и робко скреблась мышь, голодающая из-за кота. На селе утверждалась тишина, прохлада и ночная жизнь. Убитые дневною жарой собаки приходили в себя, вылазили из-под сеней, крылец, конур и пробовали голоса. У моста, что проложен через малую речку, пиликала гармошка. На мосту у нас собирается молодёжь, пляшет там и поёт. У дяди Левонтия спешно рубили дрова. Должно быть, дядя Левонтий принёс чего-то на варево. У кого-то Левонтьевские «сбодали» жердь? Скорее всего, у нас. Есть им время сейчас идти далеко.

Ушла тётя Феня, плотно прикрыв дверь в сенцах. Воровато прошмыгнул под крыльцо кот, и под полом стихла мышь. Стало совсем темно и одиноко. В избе не скрипели половицы, не ходила бабушка. Устала, должно быть. Мне сделалось холодно. Я свернулся калачиком и уснул.

Проснулся я от солнечного луча, пробившегося в мутное окошко кладовки. В луче мошкой мельтешила пыль, откуда-то наносило заимкой, пашнею. Я огляделся, и сердце моё радостно встрепенулось – на меня был накинут дедушкин старенький полушубок. Дедушка приехал ночью! Красота!

Я прислушался. На кухне бабушка громко и с возмущением рассказывала:

– ...культурная дамочка, в шляпке. Говорит: «Я у вас эти вот ягоды все куплю». Я говорю: «Пожалуйста, милости прошу. Ягодки-то, говорю, сиротинка горемышный собирал...»

Тут я, кажется, провалился сквозь землю вместе с бабушкой и уже не мог разобрать последних слов, потому что закрылся полушубком, забился в него, чтобы помереть скорее.

Но сделалось жарко, глухо, стало невмоготу дышать, и я открылся.

– ...своих вечно потачил! – шумела бабушка. – Теперь этого! А он уж мошенничает! Что потом из него будет? Катаржанец будет! Вечный арестант будет! Я вот ещё Левонтьевских в оборот возьму! Это ихняя грамота!..

Убрался дед во двор от греха подальше. Бабушка вышла в сенки, заглянула в кладовку. Я крепко сомкнул веки.

– Не спишь ведь, не спишь! Всё-о вижу!

Но я не сдавался. Забежала в дом бабушкина племянница, спросила, как бабушка сплавала в город. Бабушка сказала, что слава тебе господи, и тут же принялась рассказывать:

– Мой-то, малой-то! Чего утворил!..

В это утро к нам приходило много людей, и всем бабушка говорила: «А мой-то, малой-то!...»

Бабушка ходила взад-вперёд, поила корову, выгоняла её к пастуху, делала разные свои дела и всякий раз, проходя мимо дверей кладовки, кричала:

– Не спишь ведь, не спишь! Я всё-о вижу!

Я знал, что она управится по дому и уйдет. Все равно уйдет поделиться новостями, почерпнутыми в городе, и узнать те новости, какие свершились без нее на селе. И каждому встречному бабушка будет говорить: «А мой-то, малой-то!...»

В кладовку завернул дедушка, вытянул из-под меня кожаные вожжи и подмигнул: «Ничего, дескать, не робей». Я зашмыгал, носом. Дед погладил меня по голове, и так долго копившиеся слёзы хлынули потоком.

– Ну что ты, что ты? – успокаивал меня дед, обирая большой, жёсткой и доброй рукою слёзы с моего лица. – Чего же голодный-то лежишь? Попроси прощенья... Ступай, ступай, – легонько подтолкнул меня дед.

Придерживая одной рукой штаны, а другую прижав локтем к глазам, я ступил в избу и завёл:

– Я больше... Я больше... Я больше... – и ничего дальше сказать не мог.

– Ладно уж, умывайся да садись трескать! – всё ещё непримиримо, но уже без грозы, без громов сказала бабушка.

Я покорно умылся. Долго и очень тщательно утирался рушником, то и дело содрогаясь от всё ещё непрошедших всхлипов, и присел к столу. Дед возился на кухне, сматывал на руку вожжи, ещё чего-то делал. Чувствуя его незримую и надёжную поддержку, я взял со стола краюху и стал есть всухомятку. Бабушка одним махом плеснула молока в бокал и со стуком поставила посудину передо мной:

– Ишь ведь какой смирененький! Ишь ведь какой тихонький, и молочка не попросит!..

Дед мне подморгнул – терпи, дескать. Я и без него знал – боже упаси сейчас перечить бабушке или даже подать голос. Она должна высказаться, должна разрядиться.

Долго бабушка обличала меня и срамила. Я ещё раз раскаянно заревел. Она ещё раз прикрикнула на меня. Но вот выговорилась бабушка. Ушёл куда-то дед. Я сидел, разглаживал заплатку на штанах, вытягивал из неё нитки. А когда поднял голову, увидел перед собой...

Я зажмурился и снова открыл глаза. Ещё раз зажмурился, ещё раз открыл. По замытому, скоблёному кухонному столу, как по огромной земле с пашнями, лугами и дорогами, на розовых копытцах скакал белый конь с розовой гривой. А от печки слышался сердитый голос:

– Бери, бери, чего смотришь?! Глядишь, за это ещё когда обманешь бабушку...

Сколько лет с тех пор прошло! Уж давно нет на свете бабушки, нет и дедушки. А я всё не могу забыть того коня с розовой гривой, того бабушкиного пряника.